

CAHIERS PERIODIQUES
(5^e cahier: Septembre-Octobre 1949)

ВОЗРОЖДЕНИЕ

*Литературно-политическія
тетради*

под редакціей

С. П. МЕЛЬГУНОВА

ТЕТРАДЬ ПЯТАЯ

СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ - 1949 ГОДА.

ПАРИЖ

Editions « LA RENAISSANCE ».

75. av. des Champs-Élysées, Paris (VIII^e).

Tél.: Ely 06-03.

П Р И В О Л Ь Е

К 45-ЛѢТІЮ КОНЧИНЫ А. ЧЕХОВА: — 2-ГО ІЮЛЯ, 1904.

О смерти Чехова я узнал на рыбной ловлѣ, под Владиміром-на-Клязьмѣ. Сопровождавшій утреннюю почту знакомый почтарь из Судогды остановил тарантас на плавучем мосту, полюбопытствовал, как рыба, и, закуривая, сказал: «еще не читали. Чехов помер». Извѣстіе не было неожиданным: уже по газетам чувствовалось, что конец близок. Мы поговорили о покойном. Почтарь читал «веселые» его рассказы, вспомнил «Винт», «Сирену», еще что-то...

— «Душа отдыхала. Придешь со службы, поѣшь и сейчас что-нибудь из Чехова. И такое, знаете, успокоеніе нервов... сразу и заснешь».

— «Царство ему небесное...» — вздохнул ловившій со мной никола-мокринскій дьякон, и на его испитом, дергавшемся лицѣ изобразилась искренняя печаль. — «Вы «Архіерея» прочитайте, ничего подобнаго никто не писал.»

Он вытащил фунтового соменка и не сказал свою приговорочку при удачѣ — «ловись, рыбка большая маленькая.»

— «Это как бы в его память: любил рыбку ловить, покойник.»

— «А про «Надими»-то!...» воодушевился почтарь, — «со-смѣху допишешь, до-чего же замѣчательно!...»

— «Любил рыбку ловить, покойник...» — задумчиво повторил дьякон, и в его голубых глазах, заслезившихся от волненія, затуманилось грустью.

Он стал сматывать удочки, вымыл ослиздыя руки и вытер о затрепанный бѣлый подрясник с присохшей чешуей. Утро разгоралось, рыба брала лѣниво. Мы пришли на весь день и еще часть ночи захватили. — кидали подпуска, не попадется ли стерлядка. Съели закусить на бережку, подремали. Да, любил рыбку ловить... Вспомнилось на днѣ юности, как посчастливилось мнѣ встрѣтиться с Чеховым, о котором я тогда и не слыхивал, в Мѣщанском саду, в Москвѣ, на пруду. Свѣтом хлынуло на меня, и было в этом свѣтѣ такое благостное, что захотѣлось подѣлиться с дьяконом. Много я узнал от него из жизни духовенства и по

рыбной лодки: лучший был рыболов в округе, а про рыбу жизнь мог рассказать не хуже Аксакова.

— «Ну-с, пришли за карасями на зорьки?..»

— ... «И видим, с приятелем Женькой: как раз на нашем мѣстѣ, гдѣ прикормка, сидит незнакомец, в соломенной шляпѣ, в пестрых брюках голенастый... и — карася за карасем! А караси — как лапоть. Женька сердито тыкнул и говорит, с намеком:

— «Раз правил не знают, садятся на чужое мѣсто... приходится перейти на другое!..»

А перейти-то и некуда, все ветлы, забросить трудно. Женька как раз поплавок хотѣл обновить, «дикообразово перо», за 75 копеек, — латинскій словарь букинисту оттащил. Стал забрасывать, — поплавок и зацѣпился за вѣтки, да сажень в трех от берега, — очень развѣсистыя ветлы. Звонил-звонил, дергал-дергал... — не отцѣпляется. А незнакомец... в чесучевом, помню, пиджакѣ, в пенсне, лицо пріятное, умное... вытащил крупнѣйшаго карася! принял на сачок и говорит, нам будто:

— «Не карась, а золотая медаль!»

Сердце, прямо, у нас упало.

— «Плевать!..» — кричит Женька, — «правил не признают, — рядом буду закидывать!..»

Подошли, глядим: поплавок незнакомца тихо так повело, даже не ткнуло. Насторожился он, удилище чуть подал, не потревожить чтобы... — мастера сразу видно. А о н о прямо к осокѣ повело. Подсѣкъ умѣючи, стал выводить... — невиданный карасище, мохом, будто, зарос, золотищем чу-уть поблескивает. Голенастый тут все забыл, в воду даже ступил в ботинках, схватил под жабры и выкинул на берег, — ткнуло, как кирпич. Вывернул из жирной губы крючок... — «колечко» у карасищи в копѣйку было, гармонья словно. — и говорит:

— «Іюль, а этот, видно, Аксакова не читал, дуром лѣзет. Таким карасям в апрѣль-маѣ полагается ловиться, когда черемуха цвѣтет. А вы что же не жарите?»

Тут Женька, с досады, уж отрызнулся:

— «Зажарим, когда поймем!..»

А клевать перестало, как отрѣзало. Стал Женька опять звонить, — не отцѣпляется. Незнакомец и говорит, очень предупредительно:

— «Возьмите мою запасную. Настоящій рыболов должен всегда имѣть в запасѣ на всякій пожарный случай, это же азбука нашего ремесла!» — чуть с задорцем.

Женьку задѣло наставленіе, да такой тон еще, с задорцем, он и говорит:

— «Азбуку» вашу я отлично знаю... дѣло не в «аз-букѣ»! а я дал себѣ слово, как один индѣйскій рыболов у Густава Эмара... ловить только на «дикообразово перо»!..»

И все звонит и звонит. Незнакомец подошел к нам и говорит примирительно:

— «Ну, доставьте мнѣ удовольствіе, вот отличная леска и чуткій поплавок, специально на леща... но карась ему родственник. Мнѣ досадно, что случайно уѣлся на ваше мѣсто, уж не сердитесь...»

И ласково потрепал Женьку по синей его рубахѣ, по «индѣйской», выкрашенной особой красной, «ин-ди-го», только индѣйцы знают. Сразу и оттаял Женька, осклабился:

— «Вы не думайте, что из жадности мы обидѣлись... меньше нам карасей останется... тут не караси... а нам для пеммикана надо».

— «А-а...» — говорит, — «вам для пеммикана! высушите и в порошок истолчете?...»

— «Ну да, в рыбную муку... так всегда индѣйцы «Великих Озер» и американскіе эскимосы! Вы, значит, индѣйскіе обычаи тоже знаете?»

— «Как же, до мелочей... и сейчас люблю читать про индѣйцев».

Это совсѣм подкупило Женьку, знавшаго индѣйцев, как свои пять пальцев.

— «Пріятно встрѣтить соратника...» — сказал он совсѣм мирно.

— «Понимаю ваше положеніе, раз дали слово ловить только на «дикообразово перо». Тогда вот что. Мнѣ в Кусково надо, в гости, куда же мнѣ карасей... возьмите для пеммикана».

Вынул серебряный портсигар и угощает:

— «Не выкурят ли со мной мои краснокожіе братья трубку мира?»

Мы курили только «тере-тере», похожее на березовые листья, но взяли из вѣжливости, одну папироску на двоих. Съели всѣ трое и покурили молча, как всегда дѣлают индѣйцы. Незнакомец поглядѣл на нас и искусно продѣлал горлом, как дѣти Скалистых Гор:

— «Отнынѣ мир!» — и протянул нам руку.

В волненіи, мы пожали молча.

— «Отнынѣ, — продолжал пріятный незнакомец, — «моя леска — твой леска, твой прикормка — моя прикормка, мои караси — твои караси!» — и очень пріятно засмѣлся, прищурив глаз.

Мы тоже засмѣялись, и все закружилось от его удивительно душистой папиросы. Тут же пріятный незнакомец прибавил еще пріятности, показав сѣтчатый садок, полный карасей, и пожелал удачнаго приготовленія пеммикана. Стал собираться, по-снимал удочки с рогулек и поставил промокшіе ботинки сушиться на солнышкѣ. Мы стали ловить на нашем мѣстѣ, но брала все больше мелочишка, «лятачишки», называл так наш блѣднолицый брат. Разоткровенничавшійся Женька не удержался и сообщил, что «дикообразово перо» — самое дорогое, 75 копеек, у Перешивкина, на Моховой, и добыто в обмѣн на латинскій словарь, у букиниста.

— «Знаю, сам, бывало, вымѣнивал...» — сказал чудесный незнакомец и попробовал отщипить «перо».

Но ничего не вышло.

— «Жаль! такое волшебное перо, и должно погибнуть!... Не отпилить ли сук?»

— «Нѣтъ, оно не погибнет!» — восторженно крикнул Женька и, стянув «индѣйскіе» сапоги, расписанные похрой, бросился в штанах и синей своей рубахѣ в воду.

— «Да что он, чудака, дѣлает!» — воскликнул наш блѣднолицый брат, — «вот, горячая голова!...»

Женька плыл саженьками, с перочинным ножом в зубах, как дѣлают в подобных случаях отважные индѣйцы и эскимосы, схватил вѣтку и поплыл к берегу с волшебным пером в зубах.

— «Вот!...» — побѣдно крикнул он пріятному незнакомцу, отнынь — «брату»: «задача рѣшена, линія проведена и треугольник построен!»

Это была его любимая поговорка, когда удавалось дѣло.

— Будем отнынь ловить вмѣстѣ, заводъ будет расчищен!»

Блѣднолицый брат вынул из бокового кармашка записную книжку и что-то записал карандашиком. Потом внимательно осмотрѣл «дикообразово перо» и сказал, что непременно заведет себѣ такое же.

— «У Перешивкина, на Моховой?...»

Женька, постукивая от утрепьяго холодка зубами, сказал взволнованно:

— «Отнынь это «дикообразово перо» — наше, оно принесет вам счастливый лов!»

Пріятнѣйшій незнакомец принял перо, прижал к полосатому жилету, сказал гортанно, по индѣйски, — «попо-кате-пстль!» — что значит «великое сердце», и положил в боковой кармашек, гдѣ записная книжка. Потом, в видимом волненіи, молча, пожал нам руки, надѣл сырые еще ботинки и удалился широко, «по-охотничьи», шагая.

— «Про-стыга!» — паволинованно сказал Женька — высшую похвалу: он не бросал слов на вѣтер, а запирали их «забором зубов», как благородные индѣйцы.

Тут откуда-то появился «Кривоносый», надзиратель училища, неся на концѣ удилица единственнаго караеса, потряс пальцем и крикнул нам, еще болѣе скривив нос:

— «Отвратительно себя ведете, будет доведено до свѣдѣнія нашего гимназическаго начальства! грубить уважаемому человеку!.. больше вашей ноги здѣсь не будет!...»

Женька крикнул ему вдогон, подражая скрипучему его голосу:

— «Мало вас дррали, грубѣйшій!...» — явно дразня «Кривоноса», как ученики Мѣщанскаго училища, сплюнул и прошипѣл: «блѣднолицая с-соба-ка!...»

Сильнѣй припекало, от Женьки валит пар, словно, его сва-

рыли, и сейчас будут пировать враги. Пришел Сашка Веревкин, наш гимназист, сын инспектора училища, и рассказал, узнав наше приключеніе с пріятным незнакомцем, что это брат надзирателя Ивана Павловича Чехова, всю ночь дулся в винт у дежурных надзирателей, а потом пошли ловить карасей.

— «Заядлый рыболов... и... пи-са-тель-сочинитель, пишет всегда смѣшное, можно прочесть в «Будильникѣ» и в «Сверчокѣ»... здорово может прохватить!...»

Мы были чуть не в страхѣ, что может прохватить.

— «Да, он все смѣшное записывает в книжечку...»

— «И про нас, значит, записал!...» — воскликнул Женька.

— «Обязательно, все изобразит, увидите! А для смѣха подписывает под рассказиком не свою фамилію, а — «Антоша Чехонте»! А «Кривоноса» теперь выгонят, непременно скажу папашѣ. Уж про него записано в кондуит, что «ставит банки» и два раза был на дежурствѣ не в порядкѣ. Так и вписано: «последнее предупрежденіе».

Женька сказал:

«Чорт с ним, не стоит ябедничать, это неблагогородно».

Он теперь сушил спину, вывернув к нам голову: нѣжное что-то было в суровом его лицѣ.

Случилось в нашей жизни такое свѣтлое, что и посейчас помню. Все встает особенно ярко, как прочитаешь его рассказ — «Монтигомо», «Ястребиный Коготь». Это у него осталось, конечно, от встрѣчи с нами.

— «А вѣдь и впрямь!...» — вскричал дьякон. — З-замѣчательно изобразил, хоть там и пѣт про «дикообразово перо»... А не пора ли и за дѣло? На мосту нечего водиться, сѣно уж повезли с поймы, и мужики ѣдут на базар, мѣшать будет. А мы вот что... не попробовать ли на «кружки»? я прихватил на случай, и живцы еще есть, и лягушек с десятков, на сомиков, а? Давай-те-ка, запустим на «перевертки»!...»

Я согласился. Со мной тоже были кружки, с полдюжины.

Мы сѣли в широкую дьяконову лодку, ко всему приспособленную, забрали весь наш рыбачій скарб, и поплыли вниз, за мост, в привольныя мѣста, гдѣ Клязьма шире, и много заводей. День ослѣплял блистаньем. Рѣка — зеркально-сверкающая гладь, с всплесками еще игравшей рыбы. Было часам к 7, бор еще не прошел. Отѣхав с версту, мы стали налаживать и наживлять наши плавучія жерлицы.

Рыболовы знают, что такое «перевертки», или «круки», но не всякій, вѣдь, рыболов. Кружки, діаметром в четверть, из пробки, окрашенной сверху красным, со вставленным в самой середкѣ колышком или «свѣчкой», выкрашенной бѣлой краской. Вверху «свѣчки» — расщеп, для бечевки плавучей жерлицы. В кружкѣ, по обрѣзу, сдѣлана выемка, куда сматывается бечевка, проводится в расщеп и спускается аршина на 2 в воду,

с басовым поводком и крючком, на который насаживается живая наживка, — пескаррики, окуньки, ершики — на судачка, и лягуш-
ки — на сомиков.

— «Знаете что?...» — сказал дьякон, изготавливая «кружки», — идея у меня! В память новопреставленного раба Божіа Антонія, любившаго рыбку ловить, установим так: первая перевертка — его! а?... Грѣха тут нѣтъ, а как бы в его память... за веселые рассказы? а?..»

Я согласился, — какой же грѣх! тут в память и благодареніе от собратьев-рыболовов. Стали, благословясь, пускаться.

Течение было медленное. Клязьма, с паводков, полноводная, широкая, с заманными сверкающими всплесками впереди, порой очень сильными, от крупной рыбы, десяти фунтовых шерешперов, рѣдко влипающих на «кружки».

Дьякон, спуская первый кружок, — снизу кружок окрашивается в бѣлый цвѣтъ, издалека видный, — на окунька, перекрестился.

— «Благослови, Господи... в память новопреставленного раба Твоего Антонія, а нам во утѣшеніе. Значит, так: первая перевертка — е г о, так и будем знать. И четвертая опять его. У нас девятнадцать, — семь, стало быть, возможных переверток, в е г о память».

Как всегда, он поцѣловал наживку и, что-то шепча, должно быть какую-то свою молитву, спустил кружок. Двинулся кружок плавно и скоро стал походить на красную лодочку с бѣлым парусом — так красиво! Раз за разом, мы попускали всѣ. Цѣлая флотилія, саженой по десять промежутка, на пол-версты. Поѣхали голубчики за товаром, что-то нам привезут?... Закурили, любуемся. Первый чуть виден, на прямой полосѣ рѣки. Такое-то шриволье, благодать. Слѣва, от поймы, гдѣ начался покос, тянуло медом, густым и теплым, раздольем вошедшаго в силу лѣта. не оторвешь глаз от красоты — святой, природной, не накупаешься в этой душистой теплотѣ, не надышишься бальзамом цвѣтов и трав.

Дьякон замотал головой и перекрестился.

«Го-споди милостивый! Благословен буди за радостное твореніе Твое!.. Правда?» — обратил он ко мнѣ сіяющее лицо, на котором поблескивало слезой благодаренія. — «Ну, скажите, милый брат мой... за брата я вас... одних мы годков с вами и любим Господнее твореніе, переполнены оба благодатью. Скажите... ну, зачѣм о н туда поѣхал?! а?!.. в чужую землю?!.. а! Ну, гдѣ там такое шриволье, такая красота?... А тут — прямо, цѣлительное раствореніе воздухов, здоровье ведрами льет в тебя... а?!.. И самыя больныя легкія поправляются, увѣряю вас. Сколько случаев знаю, сколько молебнов отпѣли со протопопом, по случаю исцѣленія. У меня все записано, доктора знают, и сколько к нам присылали совсѣм приговоренных! Аи, глядь, через два-три мѣсяца, и рыбку ловят, и всякій кашель, — как не бывало. Постѣ

каждое лето приезжали, во-какие, кровь с молоком. А о н, читал я, на кумыс ъздил, и никакой пользы. А у нас, да сколько хочешь, отъѣзжаю кумыса, татары дѣлают, а слободѣ. Говорят, такого степного приволья поискать надо... не хуже, чѣм у башкирцев. Ку-мыс... не упьешься. Я, вѣдь, тоже страдал чахоткой, обѣ верхушки тронуты, теперь все зарубцевалось, и никогда лихорадки, хоть и пропадаю на рѣкѣ до холодов. Ну, слабость моя... И знаете, скажу довѣрительно вам, — я, вѣдь, неполноправный, в іерей не могу рукоположиться... — и скорбь это моя великая, что не могу. Почему? Повѣдаю, дружески только, по секрету. Знают нѣкоторые, конечно... но это не в позор мнѣ, а во испытаніе. Падучій я, еще с семинаріи. Припадки были, но давно. слава Богу, нѣтъ, а все-таки рукоположить меня никак нельзя, за физическое несовершенство. Ну, как я могу совершать таинство? — «Твоя от Твоих»?!. самый волнующій момент, когда пресуществленіе хлѣба и вина? Меня всегда волнует, когда подходит самый священный момент... созерцаю и молюсь... и страшусь, как бы о н о не случилось. Господь дарует укрѣпленіе, поплачу только, и ноги начинает сводить... но ни разу не было потемнѣнія... А раньше я по полсутки в безпамятствѣ бывал. А потом недѣлю как не свой, не приведи, Господи! Я и не заикаюсь, не смѣю. Новый пресвященный думали рукоположить... Ну, им о. протопоп повѣдал. Матушка дьяконница до сей поры боится на рѣку одного пускать, сыночка со мной снаряжает. А сегодня я с бухгалтером снарядился, да он рано ушел с моста, ревизіи у них, в Казенной Палатѣ. И правда: ну, как ей меня пустить? Плаваю хорошо, ныряю не хуже сома, а в припадкѣ-то я — бултых с головой!.. один-то. Особливо осенней порой, нерета на налимов ставить... никак одному нельзя. И сам побаиваюсь. Ну, она тогда сама со мной, и пробковый пояс велит, как я нерета ставлю, по омутам, берега крутые... не дай Бог, ежели случится. Да, о чем это я хотѣл?.. Да, и думаю: зачѣм о н туда, в чужую землю?! Мнѣ наш доктор Михайла Алексѣич Сувалкин рассказывал: вѣдь, е г о знаменитый Остроумов, профессор в Москвѣ, как отговаривал в Крым даже ѣхать: жарой, говорил, замучает. А поѣзжайте на дачу, гдѣ потише, вѣтра нѣтъ, между горками, в самой благодати-привольи поживайте, парное молочко пейте... Ну, воля Господня. Э-ан, гдѣ наши лодочки-то гуляют! Да стойте... никак донышко бѣлѣет, перевертка была, а мы и не видали! Да вон, к правому берегу, покруче гдѣ... красный обрыв!.. Есть одна, только бы не впустую...

И я замѣтил: бѣлѣет донышко, перевертка!

— Ишь, как полощется! как поплясывает-то! а?!.. Е с т ь!.. в свѣтлую е м у память!.. Только бы не сошел. А другіе... раз, два, три... четыре... — ждут.

Он высмотрѣл и насчитал семнадцать. Еще гдѣ-то перевертка, моя, девятнадцать было кружков. Как мы ни смотрѣли, нигдѣ бѣлаго донышка не видно. Очевидно, прибило-забило к кустам,

в осочку. Мы стали подгребаться и скоро замѣтили эту вторую перевертку: под ольховым кустом, недвижную. Но это еще ничего не значит. Щука если, — забьется под берег, и затанется. Могла и сойти, конечно. Подгреблись к первой переверткѣ, под № 5, на донышкѣ, — в память е г о. Оба в дрожи великаго волненія, удастся ли. А бѣлое донышко все поплясывает, — е с т ь! Щуренок, надо думать, — предполагает дьякон: частая очень пляска, не сильная, без нырания. Да разное бывает, всего не предусмотрѣшь с рыбой, какой тоже характер, — да и воли, может, добычѣ нѣтъ, бечевку вплотную затянуло, а то и зацѣпилась за коренье. Подѣвжаем. Дьякон, покрестившись, стал принимать бечевку в лодку...

— «Ого-о... с и д и т... что т-такое, не пойму?!.. Раз здорово дернуло, а теперь свободно идет. Стой, с и д и т!.. — крикнул он, вдруг, — сачок!..» Я приготовил сачок, на случай. Блеснуло бѣлым брюхом, — крупное что-то... щука? Без сачка, под жабры, с натугой, вбросил дьякон в лодку большого судака! — ахнул даже. Накрыли сѣткой. — прыгает чуть ли не на аршин.

— «На голову ему хламиду!..» — крикнул дьякон, — сейчас успокоим, и мучиться не будет».

Он взял охотничій нож и ловко, под сѣткой, воткнул под хвостовое перо. Брызнуло кровью, и судак мгновенно замер в параличѣ.

— «Я так всегда с крупной рыбой, никаких мученій. И замѣтите, какая выгода: лишняя кровь еошла, рыба не мучилась, не измоталась, а, стало быть, и вкуса не потеряла, живая свѣжесть... сравнить нельзя, если замучается. Это уж вы сегодня у меня отведаете, клизьменскаго судака. И на заливное, и холодненькаго с хрѣнком, со свѣжим огурчиком.

Мы долго любовались судаком, в ярких, живых полосках. Живца, окунька, вершка в три, заглотил до отказа, в брюхѣ уж у него окурек был. Вскрыли и вынули. Окурек еще был живой, тут же его и насадили, снова на тот же кружок: счастливый. Тут же и спустили, опять в е г о память свѣтлую. Дьякон был в великом возбужденіи, а даже стал бояться, как бы с ним не случилось. Он обложил судака травой и замотал бечевкой. Фунтам «пяти был судак, на-рѣдкость.

— «Ну, и удача!..» — говорил в восхищеніи дьякон. — «Удача на удачу! Только второй раз, как к пяти фунтам беру, на кружки еще ни разу не было. А на дорожку, на ерша, раз добыл, около шести фунтов. Клизьменскій судак — не сравнить ни с волжским-«нефтяником», ни с окским, наточно знаю, и рыболовы всѣ признают, очень сюда охочи ѣздить. Тоже и сомики: наши — как писчая бумага. Тоже и судак наш, бѣлый сѣтѣя мясцом, так дольками и отслаивается. А посему, Господи благослови!..»

Мы выпили по хорошей, станціонной, рюмкѣ и закусили по-просту, зеленым луком с хлѣбом и печеным яичком. Поплыли ко второй переверткѣ, мосій. Она с п а л а. Я стал выбирать бе-

чевку, — е с т ь! Попал щуренок, фунта полтора-два, пріятный. Высмотрѣли и нашли еще двѣ перевертки: дьяконова и олят — е г о. На первом кружкѣ взяли окуни, фунтового, — красота. — «Щуренка стоит!» — сказал дьякон.

Вѣрно, фунтовый окунь по вкусу и крѣпости не уступит и судачку, особенно маринованный. Четвертая перевертка оказалась пустой, живец сорван. Больше, сколько ни ждали, перевертка не было: солнце стояло высоко, бор прошел.

— «Всѣ ублаготворены, без обиды. И уж как же я рад, что е м у такое б л а г о в о л с н і е оказано!» — радостно повторял дьякон. — «Уж так-то рад, не сказать. Ах, порадовался бы, милый... Портрет е г о у меня, в приложеніи к «Нивѣ», вырѣзал, повѣсил над письменным столом. Почитаю — погляжу. Ах Господи... как о н «Архіерея»-то изобразил! Читаю — и плачу, от радости. Ну, скажите... ну, как вы думаете?... Ну, кто мог бы так ласково описать?... с такой любовью?!.. Это все пустяки, все облыжно и пишут, и говорят... соберутся у меня семинаристы... и то-же... — о н, говорят, тут переборщил, подсластил!.. Дураки?... Я им говорю — это вы по Писареву! о н — самый вѣрующій, куда, может, вѣрнѣй нас вѣрует! И никакой не атеист! вре-те, подлецы!.. прости меня, Господи! Т а к ласково, благородно-нѣжно!.. Никакой теперешній писатель так не сумѣл бы!.. И дара такого нѣтъ теперь, чтобы ласково... а все поддѣлка пошла, под хулу, очернить самое благородное. Все знаю, больше и х всѣх знаю, какіе непорядки в нашем сословіи, в церковниках наших. Этого и Лѣсков не боялся показывать, а «Соборян» написал! Там один Туберозов за святого сойти может! А дьякон-то, а? Ахилла-то!.. а? А Захарія-то, старичок расчудесный, святая душа, ребенок!.. Господи, до чего же все хорошо! когда всю правду, без облыганья, дают. Святой Архіерей, служи-тель Божій, воистину... Без слез не могу. Всѣ грѣхи Господь отпустит рабу Божию Антонію, нынѣ новопреставленному... Дитю, вѣдь, описал, Архіерея-то... чистота, кротость, терпѣніе... из послѣдних сил служил в великій четверг, когда «Страсти» читал, а уж дурнота его одолевала... вот это — с л у ж е н і е!.. А мамаша-то его... бѣдная старушка... дьяконица моя слезами обливается, в с е поняла!.. Осень уж... дожди... скотину ко дворам гонят, уж сумерки, бабы полоды на головы, а она, матушка, стоит с вербочкой, и о нем думает, сирота. И никто-то ей из баб не вѣрит, как начнет про сына... что вот, архіереем был. Ну, кто так мог сердце ма-те-ри!.. а?... рыдаю, обливаюсь от умиленія. А старичок-то, келейник-то, стро-гій, растирал-то его, со свѣчечкой?... Как любовно изобразил!.. Царство ему небесное.

Дьякон перекрестился, достал красный платок и вытер слезы.

— «Вот и помянули покойника, судачком помянули, и еще помянем. Знатное будет заливное, и холодец с хрѣнком, и на кокетты остается. Люблю я судачьи кокетты. А они — «он в Бога никак не может вѣровать! он естественныя науки знает, и сам врач».

А я им в нос «Архіерея»! А я им... «Святою ночью»!.. Вникайте, дураки!..

— «А «Студента» любите?..

— «Студента»?.. это про что?

— А как студент бабам, в великій четверг, в холодном полѣ, рассказывает о той трагедіи... об отреченіи Петра?..

— Го-споди!.. Еще бы не любить!?. Тоже плачу всегда. Ну, скажите, ну, не ге-ній, а?.. это «атеист»-то, мог так... а?.. Зачѣм же, зачѣм, спрошу вас, такая ложь на него?!.. Прости меня, Господи, а скажу. Святой он, не нам суд судить... а — с в я т о й!.. по духу святой, по сердцу святой... чи-стый, вот что главное! Его надо каждому мальчишкѣ давать читать, дѣвчонкѣ каждой давать читать... для душевнаго очищенія, для благородства души. А «Святой ночью»... акафист-то, а? Брат-то Николай, скончался в самую Святую Ночь! какіе акафисты составлял! Дерево... «многосѣнно-ли-ственное!» Придумать надо!.. О н и и акафисты знал... он, читал я, — еще гимназистиком «шестопсалмїе» без псалтири вычитывал! ате-ист! ах, подлецы! Понимаю, почему они радуются... что вот — и х н і й! У них-то ни-чего в запасѣ, пустота, а он — вон что изображал, православную русскую душу укрѣплял!.. В раю теперь, по заслугам... «Я такой Святой Ночи, нигдѣ не читал, только в сердцѣ ее держу, опытом духовным... и что же? О н в с е м о е изобразил, и даже, как дремота в ту ночь одолевает... и как звѣзды свѣтят в рѣкѣ, на перевозѣ. А народ движется, все в монастырѣ полно, и вот-вот ударят... ах, дивно-хорошо!..

Растроганный его причитающей рѣчью и слезами, которые, он уже не вытирал, а смаргивал, я спросил:

— «А не помните, как начинается рассказ—«Святою ночью»?..

— «Нѣтъ, гдѣ уюмнить. А как?..»

— «А вот, послушайте. Тут уж он как бы душу народа выражает, его постиженіе духовной красоты. Ему все понятно, и сам он весь в этой красотѣ-восторгѣ. И вот, смотрите и судите... Все у него в этом рассказѣ, — как пѣснопѣніе. Он даже самый пейзаж вводит в это «пѣснопѣніе»! Я наизусть знаю это начало... не помню, может быть, и не совсѣм начало, но тут же, на первой же страницѣ. Слушайте...

«...Мір освѣщался звѣздами, которыя вплотную усыпали все небо. Не помню, когда в другое время я видѣлъ столько звѣзд... Тут были крупныя, как гусиное яйцо, и мелкія, с конопляное зерно... Ради праздничнаго парада вышли онѣ на небо, все до единой тихо шевелили своими лучами. Небо отражалось в водѣ; звѣзды купались в темной глубинѣ...

— «Непостижимая красота!.. — воскликнул дьякон. — Неизрѣченная красота, и какое же чувство!.. какая душа!.. Обязательно выпишу и прикрѣплю на видном мѣстѣ. Неизрѣченная милость Твоя, Господи... даровал такого пѣснопѣвца!.. Ткну им,

дуракам... Они никогда не похвалят лучшее наше, а только пальцами тычут в самое худое! Знаю их... все на лжи и лицемерии... Словно праздник для них... «атеист»-де!..»

Собрали кружки. Были сорванные и помятые живцы. Лягушка утѣлѣла. Дьякон отцѣпил крючок от ее спинки, подумал и кинул в луг: гу-лай! А то, бывало, приберегал.

— «А на живца почему не оставили?»

— «За храбрость», — сказал дьякон. — Да и напугалась, небось. Пускай ее квакает на волѣ, Творца славит!» — и неожиданно засмѣялся. — «Умо-ра- помните, в каком-то рассказѣ... — ругаются лягушки?... — «сама такова!..» «сама такова!..» «Придумать надо».

— «В оврагѣ», кажется. А «Скучную исторію» любите?»

— «Не помню что-то... А то еще, гдѣ-то... — «я иду по ковру, ты идешь покаврешь...» — придумать надо!.. И в смѣх вгонит, и до слез прошибет. Даровал Господь талант.

Собрали снасти и подгреблись к луговому берегу, в самый мед. Покос только начинался, но по великой поймѣ уже стояли стога, лежало скатанное валами сѣно, кое-гдѣ и навивали воза. Всюду сверкали косы, бросали бѣлые огоньки, мелькали свѣжія грабли, краснѣли платки, ползгивали бруски. В теплой волнѣ с полудня вѣяло медом и миндалем. Дышалось полной грудью, чувствовалось, как вливается здоровье, бодрость и радость. Скрипучіе дергачи примолкли, пригнались в еще нетронутой глубинѣ покоса. В небѣ кружили ястреба, высматривая поживу на поблѣднѣвшей поймѣ. Тысячи кузнечиков, встревоженных жгучим жиганьем кое, подобралась к рѣкѣ и отлушала нас нестерпимо-горячим треском.

— «Ха-ха-ха...» — вдруг раскатился дьякон, о чем-то думавшій. — «А помните, птичка какая-то... и что-ж такое!.. «Ты Никиту ви-дѣл?» А ей другая, будто в отвѣтъ: «видѣл-видѣл-видѣл!..» Записано у меня, тостям читаю».

— «Это вечерняя птичка у воды, молосенькая... камышевка. От ее перекликанья, тихій вечер будто еще тише... сонное такое, умиряющее».

Время было к полудню, хотѣлось ѣсть. Дьякон развел огонь, наносного сушняка было много по берегу. Стали картошку печь, зажарили на сковородкѣ свѣжаго соменка, пококали янд печеных. Дьякон достал зубровку, и выпили мы за упокой раба Божія, повопреставленнаго Антонія. Печали не было, а легкость и благоволеніе на душѣ. Будто и е го смерти не было. Да и правда: живой, все равно, и с нами, и будет с нами, пока видим свѣтлую красоту русскаго полудня, чудесное приволье, пока слышим родную пѣсню, доплывшую к нам в медовой волнѣ покоса, — «...посѣю-у-ль я, посѣю-у-ль я... ден-конопель...» — поигрывали в теплѣ медовом звонкіе бабьи голоса. А от навитых возов, от свзых полос подсыхающаго сѣна, подхватывали басовитые, сильные мужичьи голоса: «во-ор-воробей... во-ор-воробе-эй!..»

— «Благодать...» — вздохнул, позѣвывая, дьякон. — «Люблю князьменское приволье наше, пріятная самая пора, покос. Господи... дочего же все хорошо зѣло! Облачка плывут, каная же чистота там. И свѣжесть, будто это снѣжок, и повѣвает освѣженіем. Да, устроено... для услады человѣкам. Что-то разморило, дремлет. А вы как, подремываете, а?»

Дремалось: пьянило медом, теплом, покоем.

— «...а теперь предстоит Престолу Господню...» — досказал родившуюся в нем мысль дьякон. — «И ему не страшно. И скажет ему Господь: «добрый рабе, благій и вѣрный, Антоніе! о малѣ был еси вѣрен, над многими тя поставлю: вниди в радость Господа твоего». Великая в сем правда.

— «Да, и все — правда.

— «Картошку давайте пробовать. А на ночь обязательно перемет поставим. «Игрушки» у меня хорошіе, и с блеском, и цвѣтные, на стерлядок. Онѣ любят поигрывать. Примѣта у меня: как покос, стерлядки наплывают... с Оки, пожалуй, по случаю, думаю, обилія кузнечиков с поймы. И на головля теперь хорошо, и на шершпера, на катушку... спиннинг называется. Офицер мнѣ подарил, ловили вмѣстѣ. Размахнешься — сажень на двадцать выкинешь, на блесну. Самая пора теперь.

Полднячали и на поймѣ, позатихло. Я приходился и поглядѣл.

Дьякон спал навзничь, на припекѣ. Болѣзненное его лицо теперь было покойно, кротко. Божья коровка ползла по его бурому сапоту. Подумалось мнѣ с чего-то: «как хорош русскій человѣкъ!.. и всѣ там — хорошіе, родные... в этом привольи поймы...» Было покойно и ласково на душѣ. Повсюду сидѣля кучками, поблескивали красные кувшины, поднятые над головой: задрав головы, тянули, передыхая, квас, еще с холодком, укрытый от жары тряпками и травой. Спали навитые воза: подремывали в их тѣни, поматывая от оводов хвостами, распряженные лошади. Ах, благодать какая!..

Ив. Шмелев.

Август, 1949; Париж.